

## Небо, разбитое

голыми ильмами и дубами Нью-Проспекта, наполнилось обещанием сырости, два атмосферных фронта сумеречно сговаривались о снеге на Рождество, а Расс Хильдебрандт поутру, как всегда, объезжал на “плимуте фьюри” своих выживших из ума подопечных, прикованных к постели. Одна особа, миссис Фрэнсис Котрелл, прихожанка его церкви, вызвалась вместе с ним отвезти игрушки и консервы в Общину Бога, и хотя он понимал, что вправе радоваться этому жесту доброй воли потому лишь, что он ее пастор, лучшего рождественского подарка, чем четыре часа наедине с ней, он не мог и желать.

После унижения Расса, случившегося тремя годами ранее, старший священник, Дуайт Хефле, увеличил своему заместителю пастырскую нагрузку. Как именно Дуайт распоряжался временем, которое сэкономил ему Расс, неизвестно: правда, Дуайт теперь чаще ездил в отпуск и работал над сборником лирических стихотворений. Но Рассу нравилось, с каким кокетством встречала его миссис О’Дуайер, из-за сильных отеков после ампутации не встававшая с медицинской кровати, которую разместили в ее бывшей столовой. Ему нравилось изо дня в день быть полезным, особенно тем, кто в отличие от него уже не помнил, что случилось три года назад. В доме престарелых в Хинсдейле, где запахи праздничных хвойных венков мешались с вонью старческих испражнений (точь-в-точь как в уборных в горах Северной Аризоны), он протянул старому Джиму Деверо новый приходский фотоальбом, служивший им поводом к разговору, и спросил, помнит ли Джим семейство Паттисон. Для пастора, одержимого духом адвента, Джим был идеальным конфиденнтом, колодцем желаний, брошенная в который монета никогда не звякнет о дно и не вызовет отклика.

— Паттисон, — сказал Джим.

— У них была дочь, Фрэнсис. — Расс подался к креслу-катошке своего прихожанина, перелистал альбом до литеры “К”. — У нее теперь другая фамилия: она Котрелл, по мужу.

Дома Расс о ней не упоминал, даже если пришлось бы к слову, — опасался, что жена услышит в его голосе. Джим склонился над фотографией Фрэнсис и ее двух детей.

— Ах, Фрэнни? Как же, помню я Фрэнни Паттисон. Что с ней случилось?

— Вернулась в Нью-Проспект. Полтора года назад она овдовела, такое горе. Ее муж был летчиком-испытателем в “Дженерал дайнемикс”<sup>1</sup>.

— И где она теперь?

— Вернулась в Нью-Проспект.

— Ах да. Фрэнни Паттисон. И где она теперь?

— Вернулась в родной город. Она теперь миссис Фрэнсис Котрелл. — Расс указал на снимок и повторил: — Фрэнсис Котрелл.

Они должны были встретиться в половину третьего на парковке Первой реформатской церкви. Но Расс приехал без четверти час, как мальчишка, которому хочется, чтобы поскорее пришло Рождество, и, сидя в машине, перекусил захваченными из дома сэндвичами. В неудачные дни, которых за последние три года случалось немало, он привык проникать в церковь извилистым окольным путем: через зал для собраний, вверх по лестнице, далее по коридору, сплошь уставленному стеллажами со списанными сборниками гимнов издательства “Пилгрим пресс”, через кладовку с покосившимися пюпитрами и вертепом (в последний раз его выставляли одиннадцать адвентов тому назад) — разномастные деревянные овцы и один-единственный жалкий вол, сереющий от пыли, с которым Расс ощущал печальное родство, — потом вниз по узкой лестничке, где лишь Господь способен его увидеть и осудить,

<sup>1</sup> Американская компания, один из крупнейших производителей военной и аэрокосмической техники.

в святая святых сквозь “потайную” дверь в панелях за алтарем (чтобы не проходить мимо кабинета Рика Эмброуза, директора молодежных программ). Толпившиеся в коридоре возле дверей Эмброуза подростки вряд ли присутствовали при унижении Расса, поскольку были тогда слишком малы, но наверняка слышали о случившемся, и Расс не мог смотреть на Эмброуза, не обнаруживая своей неспособности простить его по примеру Спасителя.

Сегодня, однако ж, день выдался на редкость удачный, и коридоры Первой реформатской церкви пока что пустовали. Расс прошел напрямик к себе, вкрутил лист бумаги в пишущую машинку и задумался над ненаписанной проповедью к воскресенью после Рождества, когда Дуайт Хефле снова укатит в отпуск. Он развалился в кресле, причесал ногтями брови, пощипал переносицу, провел ладонями по лицу, угловатые черты которого, с опозданием понял Расс, нравятся многим женщинам, не только его жене, и представил, как читает проповедь о рождественской поездке в Саут-Сайд. Он слишком часто проповедовал о Вьетнаме, слишком часто упоминал об индейцах навахо. Бестрепетно заявить с кафедры *“нам с Фрэнсис Коттрелл выпала честь”*, произнести ее имя, когда она сидит в четвертом ряду и взгляды паствы, пожалуй, завистливо соединяют ее с ним, — этого удовольствия он, к сожалению, лишен, поскольку жена просматривает все его проповеди и тоже будет сидеть перед кафедрой, и жена не знает о том, что Фрэнсис сегодня поедет с ним.

На стенах кабинета висели плакаты (Чарли Паркер с саксофоном, Дилан Томас с сигаретой), в рамке — меньшая по размеру фотокарточка Поля Робсона и тут же афиша с выступления в церкви Джадсона в 1952-м, диплом Нью-Йоркской духовной семинарии, увеличенная фотография Расса с двумя друзьями-навахо в Аризоне в 1946-м. Десять лет назад, когда он стал помощником священника в Нью-Проспекте, эти искусно подобранные свидетельства его взглядов откликнулись в душах подростков, чье развитие во Христе входило в сферу его обязанностей. Но молодежь в банданах, кле-

шах и комбинезонах, что ныне толкалась в коридорах церкви, считала их пережитками прошлого. Рик Эмброуз, с его тонкими слипшимися волосами и блестящими черными усами на манер Фу Манчу<sup>1</sup>, устроил в своем кабинете подобие детского сада: на стенах и полках грубо раскрашенные плоды самовыражения его подопечных, проникнутые особым смыслом ожерелья из побелевших костей, камешков и полевых цветов, подаренные детьми, нарисованные по трафаретам афиши благотворительных концертов, не имеющих отношения ни к одной из известных Рассу религий. После пережитого унижения он укрылся в своем кабинете и страдал в окружении блекнувших тотемов своей юности, не интересовавших более никого, кроме его жены. А Мэрион не в счет, поскольку именно Мэрион убедила его поехать в Нью-Йорк, Мэрион приохотила его к Паркеру, Томасу, Робсону, Мэрион восторгалась его рассказами о навахо, уговорила его последовать зову сердца и стать священником. Мэрион неотделима от ипостаси, принесшей ему унижение. Чтобы это исправить, ему нужна Фрэнсис Котрелл.

— Боже мой, это ты? — спросила она прошлым летом, когда впервые попала к нему в кабинет и рассматривала фотографию резервации навахо. — Похож на Чарлтона Хестона<sup>2</sup> в молодости.

Она пришла к Рассу за советом, как пережить утрату: беседы с теми, кто недавно похоронил близкого человека, — еще одна его обязанность, причем нелюбимая, поскольку самой тяжелой его потерей пока что была смерть Скиппера, собаки, которая была у него в детстве. К облегчению Расса оказалось, что через год после того, как муж принял огненную смерть в Техасе, сильнее всего Фрэнсис гнетет пустота. От предложения Расса вступить в один из приходских женских кружков Фрэнсис отмахнулась.

1 То есть с длинными вислыми усами. Доктор Фу Манчу — литературный персонаж, придуманный британским писателем Саксом Ромером; воплощение зла.

2 Чарлтон Хестон (1923–2008) — американский актер, лауреат премии “Оскар”.

— Не хочу я пить кофе с дамами, — сказала она. — У меня, конечно, сын вот-вот перейдет в старшую школу, но мне-то всего тридцать шесть.

На ней и правда не было ни складочки, ни морщинки, ни жиринки, ни дряблинки — воплощенная энергичность в облегающем, с узором в огурцах платье без рукавов, светлые от природы волосы острижены коротко, как у мальчишки, ладошки маленькие, широкие, тоже как у мальчишки. Расс не сомневался, что она недолго пробудет одна, и пустота, которая ее мучит, скорее всего, лишь отсутствие мужа, но помнил он и то, как разозлился на мать, когда она, едва ли не на другой день после смерти Скиппера, спросила, не хочет ли сын завести собаку.

Он сказал Фрэнсис, что есть особый женский кружок, не такой, как все остальные, и ведет его лично Расс: этот кружок работает с прихожанами Общины Бога, братской церкви из бедного района.

— Наши дамы кофе не пьют, — пояснил он. — Мы красим дома, стрижем кусты, выносим мусор. Возим стариков к врачу, помогаем детям с уроками. Мы занимаемся этим раз в две недели, по вторникам, с утра и до вечера. И я с нетерпением жду этих вторников, уж поверь. Вот тебе один из парадоксов нашей веры: чем больше отдаешь несчастным, тем ближе чувствуешь себя к Христу.

— Ты так запросто произносишь Его имя, — заметила Фрэнсис. — Я хожу на воскресную службу вот уже три месяца и до сих пор ничего не почувствовала.

— То есть даже мои проповеди тебя не трогают.

Она очаровательно покраснела.

— Я не это имела в виду. У тебя красивый голос. Но...

— Сказать по правде, ты скорее почувствуешь что-то в такой вот вторник, чем в воскресенье. Мне самому куда больше нравится бывать в Саут-Сайде, чем читать проповеди.

— Это негритянская церковь?

— Да, это церковь чернокожих. Верховодит у нас Китти Рейнолдс.

— Мне нравится Китти. В выпускном классе она вела у меня английский.

Рассу тоже нравилась Китти, но он чувствовал, что она его недолюбливает как представителя мужского пола; Мэрион заронила в его голову мысль, что Китти, никогда не бывавшая замужем, скорее всего, лесбиянка. Для поездок в Саут-Сайд она одевалась, как лесоруб, и мигом присвоила Фрэнсис — настояла, чтобы та туда и обратно ехала с ней, а не в “универсале” Рассы. Помня ее неприязнь, он уступил ей победу и дожидался момента, когда Китти захворает и никуда не поедет.

Во вторник после Дня благодарения, когда всюю ходили то ли грипп, то ли простуда, на парковку Первой реформатской церкви пришли только три дамы (все — вдовы). Фрэнсис, в шерстяной клетчатой кепке с ушами наподобие той, которую Расс носил в детстве, запрыгнула на переднее сиденье “фьюри”, но кепку не сняла — может быть, потому что печь в машине была не совсем исправна и, чтобы лобовое стекло не запотело, приходилось держать окно открытым. Или она догадалась, до чего андрогинно-прелестной казалась Рассу в этой кепке — настолько, что у него перехватило дыхание и вера его дрогнула перед соблазном? Сидящие сзади две старшие вдовы, вероятно, поняли это, потому что всю дорогу до города — мимо аэропорта Мидуэй, потом через Пятьдесят пятую улицу — донимали Рассы демонстративно-язвительными расспросами о жене и четырех детях.

Община Бога ютилась в построенной немцами церквушке без шпиля из желтого кирпича; сбоку к церквушке лепился зал собраний с толевой крышей. Паству, состоявшую преимущественно из женщин, окормлял Тео Креншо, еще не старый пастор, который в виде одолжения без благодарностей принимал помощь их пригородного кружка. Раз в две недели по вторникам Тео вручал Рассу и Китти список первоочередных дел: они приезжали не проповедовать, а служить. Китти вместе с Рассом ходила на демонстрации за гражданские права, а вот остальным участницам кружка приходилось напоминать: если они с трудом разбирают речь “горожан”, это еще не зна-

чит, что им самим нужно говорить медленно и громко, чтобы их поняли. Тем из прихожанок, кто это усвоил и научился без страха ходить по кварталам в районе пересечения Саут-Морган и 67-й улицы, кружок дарил незабываемый опыт. Тех же, кто этого не усвоил (некоторые из дам присоединились к кружку затем лишь, чтоб доказать, что они не хуже других), Расс вынужден был подвергнуть такому же унижению, какое сам претерпел от Рика Эмброуза, и попросить их больше туда не ездить.

Фрэнсис еще не прошла проверку, поскольку Китти не отпускала ее от себя ни на шаг. Теперь же, когда они прибыли на Морган-стрит, Фрэнсис неохотно вылезла из машины и дожидаясь, пока ее попросят помочь Рассу и двум вдовам отнести в зал собраний ящики с инструментами и коробки с носеной зимней одеждой. Ее нерешительность породила в Рассе бурю дурных предчувствий (он опасался, что принял форму за содержание, кепку за рисковую натуру), но их развеял порыв сочувствия, когда Тео Креншо, не обращая внимания на Фрэнсис, отправил двух старших вдов составлять каталог привезенных подержанных книг для воскресной школы. Мужчинам предстояло смонтировать в подвале новый водонагреватель.

— А Фрэнсис? — спросил Расс.

Она стояла у входа. Тео смерил ее равнодушным взглядом.

— Там целая куча книг.

— Почему бы тебе не помочь нам с Тео? — предложил Расс.

Живость ее кивка подкрепила его инстинктивное сочувствие, рассеяв подозрение, будто бы на самом деле ему хотелось покрасоваться перед нею, показать, какой он сильный, как мастерски владеет инструментами. В подвале он разоблачился до футболки, по-медвежьи облапил дрянной старый водонагреватель и снял его с подставки. В свои сорок семь Расс уже не был тонким, как молодое деревце: плечистый, широкогрудый, крепкий, как старый дуб. Для Фрэнсис в подвале дела не нашлось, ей оставалось лишь наблюдать, и когда входная труба оторвалась от стены, так что пришлось пустить в ход винторез и долото, Расс не сразу заметил, что Фрэнсис ушла.

Больше всего Рассу в Тео нравилась его сдержанность, избавлявшая Рассу от тщеславных мечтаний, будто бы между ними может завязаться межрасовая дружба. Тео знал о Рассе главное: он не чурается тяжелой работы, всю жизнь живет на грани нищеты, верит в божественную природу Иисуса Христа — а вопросы, подразумевающие пространный ответ, Тео не задавал и не одобрял. О том же отсталом парнишке по имени Ронни, который жил по соседству, в любое время года забредал в церковь, то, зажмурясь, качался в причудливом танце, то выпрашивал четвертаки у дам из Первой реформатской, Тео всегда говорил: “Оставьте его в покое”. Расс пытался заговорить с Ронни, спрашивал, где тот живет, кто его мама, Ронни неизменно отвечал: “Дай четвертак”, а Тео бросал, уже речью: “Оставьте его в покое”.

Фрэнсис об этом не предупредила. В обеденный перерыв они застали Ронни с коробкой карандашей на полу общей комнаты. Ронни в ношеной парке, явно прибывшей из Нью-Проспекта, стоял на коленях и, покачиваясь, наблюдал, как Фрэнсис рисует на газетном листе оранжевое солнце. Тео застыл, что-то пробормотал и покачал головой. Фрэнсис протянула Ронни свой карандаш и радостно взглянула на Рассу. Она нашла свой способ служить и отдавать себя, и он радовался за нее.

А вот Тео нет.

— Поговорите с ней. Объясните ей, что Ронни лучше не трогать, — сказал Тео Рассу в алтаре.

— Я думаю, она его не обидит.

— Дело не в том, обидит или нет.

Тео отправился домой (жена ждала его с горячим обедом), а Расс, не желая душить благой порыв Фрэнсис, взял пакет с ланчем и отправился в класс воскресной школы, где старшие вдовы затеяли перестановку. Тот, кто страдает телесно, отдается в чужие руки; страдающий от нищеты отдает в чужие руки свое обиталище. Не спрашивая разрешения, вдовы рассортировали детские книжки, наклеили на них симпатичные яркие ярлыки. Тот, кто беден, понимает, что требовалось сде-

лать, лишь когда это сделали за него. Расс не сразу привык, что не нужно спрашивать разрешения, но была в этом и обратная сторона: благодарности ожидать тоже не следовало. Принимаясь за задний двор, поросший ежевикой и амброзией, доходившей ему до плеч, он не спрашивал у старушки-хозяйки, от каких кустов и какой ржавеющей рухляди можно смело извлекаться, а когда заканчивал, старушка его не благодарила. “Ну вот, так гораздо лучше”, — говорила она.

Он беседовал с двумя вдовами, как вдруг внизу хлопнула дверь и послышался гневный женский крик. Расс вскочил и бросился вниз, в общую комнату. Фрэнсис, сжимая в руках газетный лист, пятилась от молодой женщины, которую Расс прежде не видел. Худосочная, с немойтой головой. Расс с порога почуял, что от женщины тянет спиртным.

— Это *мой* сын, поняла? Мой.

Ронни по-прежнему раскачивался, стоя на коленях с крандашами в руках.

— Эй, эй, — сказал Расс.

Молодая женщина стремительно обернулась.

— Ты ее муж?

— Нет, я пастор.

— А раз пастор, так скажи ей, чтоб отвалила от моего сына. — Она повернулась к Фрэнсис. — Слышь ты, сука, отвали от него! Что у тебя там?

Расс встал между женщинами.

— Мисс... Пожалуйста.

— *Что у тебя там?*

— Рисунок, — ответила Фрэнсис. — И очень красивый. Его Ронни нарисовал. Правда, Ронни?

На газетном листе алела каляка-маляка. Мать Ронни вырвала у Фрэнсис рисунок.

— Дай сюда, не твое.

— Да, — сказала Фрэнсис. — Думаю, он нарисовал это для вас.

— Я не ослышалась? Она еще смеет со мной разговаривать?

— Пожалуй, нам всем нужно успокоиться, — вклинился Расс.

— Это ей нужно убрать отсюда свою белую задницу и не лезть к моему ребенку.

— Прошу прощения, — произнесла Фрэнсис. — Он такой милый, и я всего лишь...

— *Почему она все еще со мной разговаривает?* — Мать порвала рисунок на четыре части и рывком подняла Ронни на ноги. — Я тебе говорила, чтобы ты к ним не совался. Разве я тебе не говорила?

— Не помню, — ответил Ронни.

Она вlepила ему пощечину.

— Ах, не помнишь?

— Мисс, — вмешался Расс, — если вы еще раз ударите мальчика, у вас будут неприятности.

— Ага, как же. — Она направилась к выходу. — Пошли, Ронни. Нечего нам тут делать.

Едва они ушли, как Фрэнсис расплакалась, он обнял ее, чувствуя, как в каждом содрогании изживает себя ее страх, отметил про себя, как точно ее худые плечи поместились в его сомкнутые руки, какая изящная у нее головка, и сам едва не прослезился. Им следовало спросить разрешения. Ему следовало приглядывать за Фрэнсис. Ему следовало настоять, чтобы она помогла старшим вдовам разбирать книги.

— Наверное, это не по мне, — сказала она.

— Тебе просто не повезло. Я никогда ее здесь не видел.

— Я их боюсь. Она это почувствовала. А ты не боишься, вот она тебя и послушалась.

— Если будешь чаще сюда приезжать, постепенно привыкнешь.

Она недоверчиво покачала головой.

Когда Тео Креншо вернулся с обеда, Расс постыдился рассказать ему о случившемся. Он не думал, чем займутся они с Фрэнсис, ни о чем в особенности не мечтал: ему всего лишь хотелось быть с ней рядом, и вот теперь, по заблуждению и тщеславию, он упустил возможность дважды в месяц видаться с нею. Глупо желать женщину, которая тебе не жена, но он даже сгруппировал по-глупому. Что за вопиюще пассивное ре-

шение — привести ее в подвал. Раз он вообразил, будто, понаблюдав за его работой, она захочет его так же, как он хочет ее, наблюдая за тем, как она делает что угодно, значит, он точно относится к тому типу мужчин, кого такая женщина, как она, нипочем не захочет. Ей было скучно за ним наблюдать, и он сам виноват в том, что случилось дальше.

В машине, когда они медленно ехали обратно в Нью-Проспект, Фрэнсис молчала, пока одна из старших вдов не спросила, нравится ли ее сыну, десятикласснику Ларри, в “Перекрестках”. Расс понятия не имел, что сын Фрэнсис вступил в молодежную группу при церкви.

— Рик Эмброуз гений, не иначе, — ответила Фрэнсис. — Когда я училась в школе, в эту группу ходило от силы человек тридцать.

— Вы тоже в нее ходили? — уточнила старшая вдова.

— Не-а. Там было маловато симпатичных парней. Точнее, вообще ни одного.

“Тений”, сказала Фрэнсис, и Рассу точно кислотой на мозги плеснули. Ему следовало проявить выдержку, но в неудачные дни у него не получалось не делать того, о чем он впоследствии жалел. Он словно бы делал это *именно потому*, что впоследствии пожалеет. Терзаясь стыдом при мысли о случившемся, укоряя себя в одиночестве, он возвращал себе Божью милость.

— А знаете, почему группа называется “Перекрестки”? — спросил он. — Рик Эмброуз думал, что дети слышали эту песню.

Это была постыдная полуправда. Название группы предложил Расс.

— Я спросил его, не мог не спросить, слышал ли он оригинал Роберта Джонсона<sup>1</sup>, и по глазам понял, что нет. Потому что для него, видите ли, история музыки начинается с “Битлз”. Уж поверьте, я слышал, как “Крим” поют “Перекрестки”. Я знаю, о чем говорю. Эти англичане сперли песню

<sup>1</sup> Роберт Лерой Джонсон (1911–1938) — американский певец, гитарист и автор песен, один из самых известных блюзменов XX века. Блюз “Перекрестки” (“*Cross Road Blues*”, или просто “*Crossroads*”) вышел в 1937 г.

у нашего чернокожего маэстро блюза и сделали вид, будто *сами* ее написали.

Фрэнсис, в охотничьей кепке, не сводила глаз с едущего впереди грузовика. Старшие вдовы, затаив дыхание, слушали, как помощник священника поливает грязью директора молодежных программ.

— Кстати, у меня есть оригинальная версия джонсоновских “Перекрестков”, — отвратительно расхвастался Расс. — Когда я жил в Гринич-Виллидже (я ведь когда-то жил в Нью-Йорке), частенько находил на барахолках старые пластинки. Во время Депрессии фирмы грамзаписи пошли в народ и отыскивали удивительных самобытных исполнителей — Ледбелли, Чарли Паттона, Томми Джонсона. Я тогда вел продленку в Гарлеме, по вечерам возвращался домой, ставил эти пластинки и словно переносился на юг в двадцатые. Сколько же было *боли* в этих старых голосах. Они помогли мне лучше понять ту боль, с которой я сталкивался в Гарлеме. Блюз-то, он ведь об этом. А когда белые группы начинают его копировать, это как раз исчезает. Я не слышу в этой новой музыке никакой боли.

Повисло неловкое молчание. Пастельные тона последнего ноябрьского дня тускнели под облаками на пригородном горизонте. Теперь у Расса было более чем достаточно поводов устыдиться, более чем достаточно, чтобы не сомневаться: он мучается по заслугам. Ощущение правоты в завершение худших дней, чувство, что он вернулся домой, — все это убеждало его: Бог есть. Вот и сейчас, направляясь к угасающему свету, он предвкушал воссоединение с Ним.

На стоянке Первой реформатской, когда прочие вдовы уже ушли, Фрэнсис спросила:

— Почему она разозлилась на меня?

— Мать Ронни?

— Со мной никто никогда так не разговаривал.

— Мне очень жаль, что так вышло, — сказал Расс. — Но я не случайно упомянул о боли. Представь, что ты очень бедна и единственное, что у тебя есть, это твои дети: никому, кроме них, ты не нужна, и никому, кроме них, нет до тебя дела.